

Александр Фатеев

Зов красной звезды

«Автор»
2026

Фатеев А.

Зов красной звезды / А. Фатеев — «Автор», 2026

Инженер Лось собирается на Марс, новый аппарат готов, Гусев отказывается лететь, врачи не рекомендуют, но сердце зовет. Где ты, сын неба....

© Фатеев А., 2026
© Автор, 2026

Александр Фатеев
Зов красной звезды

Глава 1. Красная звезда

Марсианский мох, принесённый Лосем в старом кожаном кисете, давно истлел, обратившись в рыжую пыль на дне лабораторного стола. Но красная звезда не отпускала. Она жгла инженера сквозь толщу петербургских облаков, сквозь гул заводов и сырую изморозь на оконном стекле.

На Ждановской набережной вместо старого сарая выстроили ангар. Рабочие с соседнего завода, те самые, что приходили провожать Лося в первый полёт, помогли разобрать старые стены и вывезти мусор, а потом вместе с ним залили новый фундамент и подняли каркас. Ангар получился высокий, светлый, с бетонным полом и фермами под самую крышу. Республике было не до старых построек, все силы уходили на восстановление хозяйства и электрификацию, но рабочие приходили по вечерам, после смены, и работали бесплатно, за хлеб и махорку, потому что верили в Лося и в его аппарат.

Крышу Лось сделал сдвигающейся: две тяжёлые створки на рельсах, которые разъезжались в стороны с помощью тросов и лебёдки. Когда створки расходились, над ангаром открывался прямоугольник петербургского неба, сизого, низкого, с облаками, похожими на вату. Лось мог смотреть вверх, на звёзды, и вспоминать, как они стоят в космосе: не мерцая, как вбитые гвозди.

В гулком ангаре рождался новый аппарат. Корпус его отливал не тусклой броней, а матовым серебром, и был он яйцеобразным, таким же, как прежний, только грубее и тяжелее. Прежний аппарат был разобран, а его чертежи сожжены в печке: пепел прошлого не годился для новой дороги.

В корпусе стояли шесть больших иллюминаторов: три сверху, в своде корпуса, и три по бокам, в обшивке. Каждый был толстый, выпуклый, оправленный в матовый металл, и каждый прикрывался изнутри плотной шторкой. Шторки открывались рычагами. Лось сам придумал эту систему после первого полёта, когда понял, что обзор нужен не только вперёд, но и во все стороны. Тогда, в двадцать первом, он видел Марс только через узкие глазки, и ему всё время казалось, что он смотрит в замочную скважину. Теперь он хотел видеть всё. Кроме того, в разных частях корпуса были глазки для навигации по звёздам, маленькие, оправленные в латунь, с тонкими перекрестиями.

Аппарат стоял в центре ангара, на четырёх телескопических опорах. Диски упирались в бетонный пол, и вся конструкция была слегка наклонена, не для осмотра и не для стока воды, а для траектории. Лось рассчитал этот угол сам: при старте аппарат должен был сразу лечь на нужную дугу, и наклон экономил порошок, не приходилось тратить его на то, чтобы задирать нос уже в воздухе.

Гусев не летел, но в подготовке участвовал так, словно летел сам. Каждое утро он приходил в ангар, стучал по опорам, проверял лебёдку и ворчал, что крыша когда-нибудь сорвётся и улетит вместе с аппаратом. Он сам, своими руками, отладил систему посадки, те самые четыре телескопические опоры с широкими дисками на концах, которые Лось рассчитал для нового корабля. Аппарат должен был сесть не «как топор в полено», а мягко, опершись на эти диски, как на лапы. Он же, по своей охоте, опоясал корпус тонкой сетью проволоки, системой электрошока на случай, если кто-то сунется внутрь без спроса. Отключалась она секретной кнопкой, утопленной в панель у самого трапа, под краем обшивки.

— Понял, Сергеич? — тыкал он замасленным пальцем в схему. — Ежели что, сама выровняется. А ежели кто полезет, шибанёт так, что до Земли долетишь.

Лось кивал. Он стоял у трапа, худой, с впалой грудью, и врачи в последний раз качали головами. Старый профессор в пенсне долго держал его за локоть и повторял:

— Сгорите, Мстислав Сергеевич. Сердце не выдержит. Оставьте вы эту красную шкатулку, ступайте в Ялту.

Лось улыбался и молчал.

Серебристое яйцо блестело в свете ламп, и в его матовой поверхности отражались фермы, тросы и сам Лось, с блокнотом в руке, в замасленной куртке.

Вместо Гусева, скрепя сердце, Лось взял в напарники Семёна Шустого, человека-ртуть, кинематографиста и бродягу, исходившего полсвета с цейссовской оптикой на шее. Шустому не нужно было объяснять величие пустоты; он и так знал, что самое прекрасное на свете это то, чего не существует на Земле. В стальное чрево аппарата легла сеть проволоки, мощный радиоаппарат, способный пробить ледяную немоту космоса.

Однажды утром принесли телеграмму. Арчибальд Скайльс, американский журналист, который ещё в двадцать первом году интересовался полётом Лося и писал о нём в своей газете, извинялся, что не может приехать: дела держат его в Нью-Йорке, здоровье пошаливает, да и редакция не отпускает. Он просил, как и раньше, оплатить его путевые заметки долларами, и добавлял, что верит в успех экспедиции и ждёт сенсации.

Лось прочёл телеграмму, усмехнулся и положил её в блокнот, между страницами с расчётами. Гусев, стоявший рядом, хмыкнул:

— Долларами ему плати. А мы тут на махорке сидим.

— Ничего, — сказал Лось. — Долетим, и доллары будут, и заметки.

Вечером Лось остался в ангаре один. Рабочие разошлись, Гусев ушёл последним, ворча, что лебёдку надо смазать. Лось поднялся на ферму, к самому краю крыши, и потянул за трос. Створки разъехались с тихим скрипом, и над ангаром открылось небо, сизое, с редкими звёздами, которые проступали сквозь облака, как крупинки соли на тёмной бумаге.

Он сел на край фермы, свесив ноги, и достал из кармана шлемофон. Надел его, прижал к уху и стал слушать. Сначала был только треск, ровный, сухой, как шорох песка. Лось ждал. Он

привык ждать: с тех пор как вернулся, он каждую ночь надевал шлемофон и слушал, и голос приходил не всегда. Иногда он слышал только треск и шипение, и тогда он снимал шлемофон и сидел в темноте, глядя на Марс, и думал, что она, может быть, спит, или прячется, или машина снова сломалась.

Но в этот вечер голос пришёл. Сквозь треск, сквозь далёкий гул города, низкий, вибрирующий, как будто кто-то говорил через толщу воды:

— Тхар-ур... аш-ша... тир-на...

Лось замер. Он знал эти слова. Он выучил их в первый раз, в доме Аэлиты, в её комнате с голубым шаром. Она показывала на предметы и называла их. Голубой шар, светильник над столом, она назвала первым. Потом были другие слова: «тьма», «вода», «камень», «ждать». Тхар-ур, сын неба. Аш-ша, я жива. Тир-на, жду тебя. Он повторял за ней, и она смеялась, когда он ошибался.

И оборвалось. Треск. Шипение. Тишина.

Лось сжал шлемофон так, что побелели пальцы. Он видел, как она поднесла к губам маленький флакон. Видел, как она упала. Видел её лицо, спокойное и далёкое. А теперь голос говорил «я жива» и обрывался. Может быть, она хотела сказать что-то ещё? Может быть, она хотела сказать «я жива, но...»? Или «я жива, и Тускуб...»? Он не знал. Он ждал, что голос вернётся, что она договорит. Но треск не прерывался.

Он снял шлемофон и посмотрел на Марс. Ржавое пятно висело над крышами, тусклое, далёкое, и всё же оно было ближе всех звёзд.

Он думал о том, чтобы ответить. Собрать передатчик, он знал как, он инженер, и послать сигнал. Но каждый раз, когда он представлял это, он видел её лицо: как она стоит у окна, как смотрит на небо, как ждёт. И думал: если он пошлёт сигнал, его услышат не только она. Услышит стража. Услышит Тускуб. И тогда её найдут. И тогда её убьют.

Он не мог так рисковать. Он мог ждать. Он умел ждать.

И потом, у него всё равно не было передатчика. Только приёмник, старый, собранный из того, что осталось от первого полёта. Он мог слушать, но не мог говорить. И это было хуже всего: слышать её и не иметь возможности ответить.

Лось полез в карман куртки и достал трубку, старую, обкуренную, с трещиной на чубуке. Врачи запретили ему курить ещё в двадцать первом, после первого полёта, когда сердце начало сдавать. Он обещал бросить. Он даже выбросил табак, весь, до последней щепотки. Но трубку не выбросил. Она осталась в кармане, как привычка, от которой не избавиться.

Он сунул её в зубы и соснул. Пустую. Без табака, без огня, просто чтобы держать во рту, чтобы челюсть помнила, как это было. Трубка была тёплой от кармана, и чубук пах старым деревом и дымом, которого больше не будет.

— Я бросил, — сказал он вслух, ни к кому не обращаясь. — Честное слово, бросил.

Трубка молчала. Лось усмехнулся и убрал её обратно в карман, но не глубоко, так, чтобы можно было достать снова, когда никто не видит.

На краю поля собралась делегация: красноармейцы в будёновках, члены исполкома в кожаных куртках. Один из них, лысый и важный, держал короткую речь о том, что товарищ Лось прокладывает дорогу человечеству и что красная звезда, которую он несёт в сердце, озарит и Марс. Красноармейцы хлопали нестройно, но искренне.

Хохлов, тот самый, который в первый раз отказывался лететь с Лосем, мял кепку и смотрел на него с тоской.

— Слушай, Сергеич, — подошёл он. — Может, всё-таки? Я вместо тебя. Руки у меня крепкие, глаз верный.

Лось коротко рассмеялся и покачал головой.

— Эх, Хохлов. Твои руки Землю держат. А я лечу за женщиной. Разве поймут тебя марсианские пески?

Хохлов вздохнул и отступил.

Шустый уже был в аппарате. Он высунулся из люка и крикнул:

— Мстислав Сергеевич! Пора! Небо ждёт!

Лось поднялся по трапу и оказался внутри, где было тесно, но уютно: кресла, переплетение проводов, шкафчики с кислородом. В центре стоял радиоаппарат, сеть проволоки, лампы, ручки настройки, а рядом, на крючке, висела тяжёлая брезентовая сумка с длинным проводом и шлемофоном. Лось прикоснулся к холодному металлу, понимая, что этот аппарат должен донести до Земли голос с Марса. Если будет что доносить.

— Ну что, — сказал он, — поехали.

Люк закрылся, из дюз ударило слепящее белое пламя, и серебристое яйцо поднялось над бетоном, сначала медленно, потом всё быстрее уходя вверх. Красноармейцы задрали головы, кто-то снял будёновку, члены исполкома смотрели молча, а Хохлов перекрестился, хотя был коммунистом. Аппарат поднимался в сизое петербургское небо, и вскоре от него осталась только серебристая точка, которая растворилась в облаках. Гусев смотрел вверх и бормотал:

— Дай-то бог. Дай-то бог.

Земля застонала и отпустила своих сыновей.

Глава 2. Земля отпускает

Первые сутки они слышали монотонный гул, ровный, без всплесков, словно где-то далеко работал огромный, хорошо смазанный механизм. Сначала Лось вздрагивал всякий раз, когда

ему казалось, что двигатель сбоит: гул на миг менял тон, или в нём проскальзывала хрипотца, или стрелка на манометре дёргалась у красной черты. Тогда он бросал всё, припадал к приборам, сверял показания, стрелки ползли по циферблатам, диски вращались, и смотрел в глазки оптических прицелов, где дрожало отражение далёких звёзд.

Он глядел в эти глазки, пока не начинали слезиться глаза, и только потом, убедившись, что всё в порядке, откидывался в кресле. К утру он привык, и гул стал фоном, таким же привычным, как дыхание.

Когда шторки были открыты, звёзды видны были и сверху, и с боков. Лось то и дело откидывал рычаг то одного, то другого иллюминатора, заглядывал в него, проверял, не изменился ли курс, не сбились ли звёзды. Шустый сидел у верхнего переднего, приникнув к окуляру, и снимал пустоту.

Аппарат шёл тяжело, с надрывом, и Лось то и дело поглядывал на манометры, где стрелки дрожали у красной черты. Он знал, что так будет: топливо было не то, что в первом полёте. Тогда, в двадцать первом, они с Гусевым использовали порошок из редкоземельных материалов, найденных в сибирской экспедиции ещё до войны. Тот порошок давал взрывную тягу, почти мгновенную, и аппарат летел как снаряд, так что они не успели ничего почувствовать, кроме удара в грудь и звона в ушах. Теперь порошок был другим, сделанным из того, что было под рукой, из других материалов, послабее. Он горел медленно, тягуче, и тяга у него была меньше. Лось сам рассчитал новую траекторию, не прямую стрелу к Марсу, а широкую дугу, почти касательную, так топлива хватало, но полёт удлинялся.

— Почему не порошок, как в прошлый раз? — спросил Шустый на второй день, когда тряска стихла.

— Потому что прошлый порошок был из редкоземельных материалов, — ответил Лось. — Мы нашли их в сибирской экспедиции, ещё до войны. Такого порошка больше нет: он давал взрывную тягу, почти мгновенную, и аппарат летел как снаряд. А этот сделан из того, что было под рукой, из других материалов, послабее. Он горит медленно, тягуче, и тяга у него меньше. Я не мог ждать: республика ещё не оправилась от войны, все силы брошены на индустриализацию. Никто не даст мне экспедицию за редкоземельными материалами. Никто не даст времени. Поэтому я взял то, что есть, и пересчитал траекторию. Полёт удлинился, но мы долетим.

— А обратно? — спросил Шустый.

— Обратно тем же порошком, — сказал Лось. — Его хватит, если не тратить зря. Это не выстрел, Семён. Это путь.

Шустый кивнул и больше не спрашивал.

Они летели быстро, но часто по инерции: порошок давал тягу только короткими толчками, а между ними аппарат шёл сам, медленно и ровно, как парусник в штиль. Так шли дни. Порошок они берегли, не жгли зря, а пускали короткими толчками, ровно столько, чтобы держать курс. Лось с самого начала решил: топливо нужно на обратный путь, и тратил его скупо, как скупец тратит золото. Поэтому двигатель то умолкал, и аппарат плыл по инерции, то снова оживал на несколько минут, и так все два месяца.

Лось почти всё время сидел за навигационным столом. Он то и дело сверялся с показаниями приборов, стрелки ползли по циферблатам, диски вращались, и в глазках оптических прицелов дрожало отражение далёких звёзд. Он глядел в эти глазки, пока не начинали слезиться глаза, и снова склонялся над блокнотом, где колонками стояли цифры: курсы, поправки, расход порошка, время. Когда двигатель замолкал и аппарат шёл по инерции, Лось спал, коротко, урывками, пристёгнутый к креслу, или писал в блокнот новые таблицы, сверяя их с прежними. Шустый в это время снимал или молчал, и оба привыкли к тишине.

На третий день пришла невесомость, и она не была страшной, как писали в книгах, просто всё стало лёгким. Лось оттолкнулся от кресла и поплыл к иллюминатору, и сердце его на миг замерло не от боли, а от восторга: за стеклом была чернота, густая, как дёготь, и в ней горели звёзды, которые не мерцали, как на Земле, а стояли, как вбитые гвозди.

Шустый сначала ругался, потому что его кинокамера уплыла под потолок, и он гонялся за ней, отталкиваясь от стенок, пока не поймал; потом привык, привязал себя к креслу ремнём и стал снимать пустоту часами. Лось смотрел на него и думал, что Шустый единственный человек, которого пустота не пугает, а восхищает.

— Я всегда хотел снять то, чего нет, — сказал Шустый однажды, не отрываясь от окуляра. — На Земле всё уже сняли: каждую гору, каждое лицо. А здесь ничего. И это самое честное, что я видел.

Шустый был из тех, кто не любит рассказывать о себе, но в космосе, когда некуда идти и нечего делать, люди говорят, и Лось узнал его историю по кускам, между вахтами и сном.

Семён Шустый родился в Одессе, в семье фотографа: отец держал мастерскую на Дерибасовской и снимал свадьбы, похороны и портреты гимназисток. Семён с детства пропадал в тёмной комнате, среди красного света и запаха фиксажа, и любил смотреть, как на белой бумаге проступает лицо, сначала бледное, потом всё яснее, пока не станет живым. Отец говорил: «Фотография это охота. Ты ловишь мгновение, пока оно не ушло».

В четырнадцатом году, когда началась война, отец ушёл на фронт и не вернулся, и мастерская перешла к Семёну. Он снимал раненых в лазаретах, беженцев на вокзалах, разрушенные дома; потом была революция, и он снимал революцию, баррикады, толпы, лица. Он не был ни за красных, ни за белых: он был за мгновение, и ему казалось, что если он снимет всё честно, то сможет понять, куда катится мир.

Но мир не открывался, и чем больше он снимал, тем меньше понимал. Тогда он уехал, сначала в Турцию, потом в Европу, потом в Африку, снимал пирамиды, пустыни, чужие города и научился говорить на пяти языках, плохо, но достаточно, чтобы просить разрешения на съёмку. Он был в Тибете и видел, как монахи сжигают себя на площадях; был в Индии и снимал, как умирают от голода; был в Америке и снимал небоскрёбы, которые казались ему пустыми, как лица.

— Я искал кадр, который объяснит всё, — сказал он Лосю. — Такой, чтобы я посмотрел на него и понял, зачем мы живём. Но его нет. Или он есть, но не на Земле.

Лось слушал и молчал, потому что понимал.

Шустый учил марсианский язык по старым записям Лося. Лось составил их ещё в двадцать первом году, корявые столбцы марсианских слов, переписанных с табличек в лабиринте, с пометками на полях: «огонь», «вода», «опасность», «иди за мной». Шустый выпросил эти записи, переписал в свой блокнот и стал зубрить.

Он делал это вслух, и это сводило Лося с ума.

— «Ырх», — бормотал Шустый, водя пальцем по блокноту. — «Ырх» это камень. «Ырх-а» большая скала. «Ырх-ош» маленький камень. — Он поднимал глаза к потолку и повторял, шевеля губами: — Ырх. Ырх-а. Ырх-ош. Камень. Скала. Камешек.

— Семён, — не выдерживал Лось. — Ты можешь думать молча?

— Не могу, — отвечал Шустый. — Я так запоминаю. Через язык.

Он запоминал через язык, через зубы, через горло. Марсианские слова были непохожи на всё, что он знал: в них было много щелчков, шипения и гортанных звуков, которые приходилось выталкивать из самой глубины горла. Шустый старался, но получалось у него плохо. Он путал «камень» с «водой», «огонь» с «другом» и однажды целый час повторял слово, которое, как выяснилось позже, означало «моя бабушка».

— Ты не расстраивайся, — утешал он сам себя. — Зато я теперь могу сказать «я съел камень». Это тоже полезно.

Лось молчал и смотрел на Марс, который рос в иллюминаторе. Но иногда, когда Шустый особенно старательно выводил «ырх-а», уголок его рта дёргался.

К концу второго месяца Шустый знал уже десятка три слов. Он выучил «дай воды», «где дорога», «не стреляй» и «я друг». Последнее слово он произносил особенно тщательно, потому что понимал: от него может зависеть жизнь.

— А как будет «спасибо»? — спросил он однажды.

Лось оторвался от приборов и сказал. Шустый повторил чисто, с первого раза.

— А «прощай»?

Лось сказал. Шустый повторил тоже чисто.

— А «ты красивая, когда злишься»?

Лось поднял на него глаза.

— Этого слова я не знаю.

— Жаль, — сказал Шустый. — Пригодилось бы.

Свою историю он рассказал Шустому на пятый день, когда аппарат вошёл в плотный метеорный поток и пришлось включать ручное управление. Лось сидел за рычагами, Шустый рядом, с кинокамерой на коленях, и Лось заговорил:

— Я был здесь раньше, Семён. Двадцать первый год, мы летели с Гусевым. Тогда я не знал, зачем, просто хотел долететь, увидеть Марс, понять, что там. Мы вернулись, и я привёз мох, он истлел. И ещё кое-что. — Лось помолчал. — Я слышал её голос. Аэлиту. Она говорила со мной через радио, через машины, которые никто не умеет чинить, и звала меня. Я не сразу понял, что это она. Я не знал, жива ли она, но слышал её в каждом треске, в каждом шорохе: «Сын неба», говорила она. И я понял, что не могу остаться на Земле.

Шустый не перебивал.

— Я инженер, — продолжал Лось. — Я умею считать, чертить, строить. Я умел ждать. Но не мог ждать, зная, что она там одна. А она ждала, каждую ночь, каждую минуту, и я слышал, как она ждёт. И я поклялся, что вернусь: не за славой, не за открытием, а за ней.

Он замолчал и посмотрел на Марс, ржавое пятно, которое росло в иллюминаторе с каждым днём.

— Ты веришь, что она ждёт? — спросил Шустый.

— Верю, — сказал Лось.

На седьмой день они чуть не погибли: аппарат вошёл в облако микрометеоритов, и один из них пробил внешнюю обшивку. Лось и Шустый надели скафандры и вышли наружу, чтобы заварить пробоину, и работали в темноте, при свете фонаря, так что каждый удар молотка отдавался в костях; Шустый держал лист металла, Лось заклёпывал. Когда закончили, оба долго сидели в шлюзе, не снимая шлемов.

— Ну что, — сказал Шустый, — теперь я верю, что мы долетим.

— Почему?

— Потому что мы уже чуть не умерли. Значит, всё настоящее.

Порошок был цел, но Лось берёг его пуще глаза: двигатель работал только короткими толчками, а между ними аппарат шёл по инерции, медленно, как парусник в штиль. Время растянулось; Лось подолгу сидел у радиоаппарата, надев шлемофон, и слушал, Шустый снимал, а иногда они играли в шахматы, и фигуры, вырезанные из пробки, висели в невесомости в воздухе, как маленькие планеты.

Глава 3. Зов

Шли недели. Они летели быстро, но часто по инерции, и Марс рос в иллюминаторе медленно, как ржавое пятно на чёрном сукне.

На двадцатый день Лось снова услышал зов, тише, чем в первый раз, но отчётливее, словно кто-то стоял за дверью и ждал, когда её откроют.

— Тхар-ур... аш-ша... тир-на...

Лось снял шлемофон и посмотрел на Марс: до него оставалось ещё далеко, но он уже чувствовал его дыхание, сухое, холодное, красное.

— Скоро, — прошептал он. — Скоро.

Серебристое яйцо корабля шло сквозь ледяную пустыню космоса, и эта пустыня была страшнее марсианских песков. Здесь не было ни ветра, ни пыли, ни звука, только чернота, в которой молчали звёзды, да белесый иней выступал на стекле иллюминаторов. Шустый подолгу сидел у объектива, снимая одно и то же: пустоту. Он говорил, что пустоту надо снимать так же честно, как лицо человека, иначе она не поверит и не откроется.

Лось почти не спал. Он доставал из сумки шлемофон, надевал его на голову, прижимал к уху и слушал. Иногда голос приходил сразу, низкий, вибрирующий, как будто кто-то говорил через толщу воды:

— Тхар-ур... аш-ша... тир-на...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.